

Глеб Иванович Успенский

«Выпрямила»



Кой про что

Глеб Успенский
«Выпрямила»

«Public Domain»

1885

Успенский Г. И.

«Выпрямила» / Г. И. Успенский — «Public Domain»,
1885 — (Кой про что)

«...В очерке «Выпрямила» писатель показывает людей, «скомканных» как русской действительностью (крестьяне-новобранцы, народник Тяпушкин), так и западноевропейским капиталистическим строем, где царствует мнимая «правда», где «всё одно унижение, всё поправление в человеке человека». Но пафос «Выпрямила» – в мечте о лучшем будущем русского народа, о «выпрямленном» человеке, свободно трудящемся на своей земле, освобожденном от несправедливостей правительственных властей и «жестокостей» капитализма...»

Содержание

I	5
II	9
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Глеб Иванович Успенский

«Выпрямила»

(Отрывок из записок Тяпушкина)

I

...Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал такие слова¹: «Венера Милосская² несомненное принципов восемьдесят девятого года»³. Что же значит это загадочное слово *несомненное*? Венера Милосская несомненна, а принципы сомненны? И есть ли, наконец, что-нибудь общего между этими двумя сомненными и несомненными явлениями?

Не знаю, как понимают дело «знатоки», но мне кажется, что не только «принципы» стоят на той самой линии, которая заканчивается «несомненным», но что даже я, Тяпушкин⁴, ныне сельский учитель, даже я, ничтожное земское существо, также нахожусь на той самой линии, где и принципы, где и другие удивительные проявления жаждущей совершенства человеческой души, на той линии, в конце которой, по нынешним временам, я, Тяпушкин, вполне согласен поставить фигуру Венеры Милосской. Да, мы все на одной линии, и если я, Тяпушкин, стою, быть может, на самом отдаленнейшем конце этой линии, если я совершенно неприметен по своим размерам, то это вовсе не значит, чтобы я был сомненнее «принципов» или чтобы принципы были сомненнее Венеры Милосской; все мы – я, Тяпушкин, принципы и Венера – все мы одинаково *несомненны*, то есть моя, тяпушкинская, душа, проявляя себя в настоящее время в утомительной школьной работе, в массе ничтожнейших, хотя и ежедневных, волнений и терзаний, наносимых на меня народной жизнью, действует и живет в том же самом несомненном направлении и смысле, которые лежат и в несомненных принципах и широко выражаются в несомненности Венеры Милосской.

А то, скажите, пожалуйста, что выдумали: Венера Милосская несомненна, «принципы» уже сомненны, а я, Тяпушкин, сидящий почему-то в глуши деревни, измученный ее настоящим, опечаленный и поглощенный ее будущим, – человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках и т. д., – я-то будто бы уж до того ничтожен, что и места на свете мне нет!

Напрасно! Именно потому-то, что я вот в ту самую минуту, когда пишу это, сижу в холодной, по всем углам промерзшей избенке, что у меня благодаря негодяю старосте развалившаяся печка набита сырыми, шипящими и распространяющими угар дровами, что я сплю на голых досках под рваным полушубком, что меня хотят «поедом съесть» чуть не каждый день, – именно потому-то я и не могу, да и не желаю устранить себя с той самой *линии*, которая и через принципы и через сотни других великих явлений, благодаря которым вырастал человек, приведет его, быть может, к тому совершенству, которое дает возможность чутать Венера Милосская. А то, извольте видеть: «там, мол, красота и правда, а тут, у вас, *только* мужицкие лапти, рваные полушубки да блохи!» Извините!..

Все это я пишу по следующему, весьма неожиданному для меня обстоятельству: был я вчера благодаря масленице в губернском городе, частью по делам, частью за книжками,

¹ ...Кажется, в «Дыме» устами Потугина И. С. Тургенев сказал... – Имеются в виду слова из рассказа И. С. Тургенева «Довольно. (Записки умершего художника)»: «Венера Милосская, пожалуй, несомненное римского права или принципов 89 года».

² Венера Милосская – древнегреческая статуя богини любви, найденная в 1820 году на острове Милосе.

³ «...принципов восемьдесят девятого года», – Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», политический манифест французской буржуазной революции, выработанный Национальным собранием 4–27 августа 1789 года.

⁴ Тяпушкин – герой цикла очерков «Волей-неволей» (1884).

частью посмотреть, что там делается вообще. И за исключением нескольких дельно занятых минут, проведенных в лаборатории учителя гимназии, – минут, посвященных науке, разговору «не от мира сего», напоминавшему монашеский разговор в монашеской келье, – все, что я видел за пределами этой кельи, поистине меня растерзало; я никого не осуждаю, не порицаю, не могу даже выражать согласия или несогласия с убеждениями тех лиц «губернии», губернской интеллигенции, которую я видел, нет! Я изныл душой в каких-нибудь пять, шесть часов пребывания среди губернского общества именно потому, что не видел и признаков этих убеждений, что вместо них есть какая-то печальная, плачевная необходимость уверять себя, всех и каждого в невозможности быть сознающим себя человеком, в необходимости делать огромные усилия ума и совести, чтобы построить свою жизнь на явной лжи, фальши и риторике.

Я уехал из города, ощущая огромный кусок льду в моей груди; ничего не нужно было сердцу, и ум отказывался от всякой работы. И в такую-то мертвую минуту я был неожиданно взволнован следующей сценой:

– Поезд стоит две минуты! – второпях пробегая по вагонам, возвестил кондуктор.

Скоро я узнал, отчего кондуктор должен был так поспешно пробежать по вагонам, как он пробежал: оказалось, что в эти две минуты нужно было посадить в вагоны третьего класса огромную толпу новобранцев последнего призыва из нескольких волостей.

Поезд остановился; был пятый час вечера; сумрак уже густыми тенями лег на землю; снег большими хлопьями падал с темного неба на огромную массу народа, наполнявшую платформу: тут были жены, матери, отцы, невесты, сыновья, братья, дядя – словом, масса народа. Все это плакало, было пьяно, рыдало, кричало, прощалось. Какие-то энергические кулаки, какие-то поднятые локти, жесты пихающих рук, дружно направленные на массу и среди массы, сделали то, что народ валил на вагоны, как испуганное стадо, валился между буферами, бормоча пьяные слова, валялся на платформе, на тормозе вагона, лез и падал, и плакал, и кричал. Послышался треск стекол, разбиваемых в вагонах, битком набитых народом; в разбитые окна высунулись головы, растрепанные, разрезанные стеклом, пьяные, заплаканные, хриплыми голосами кричавшие что-то, вопиявшие о чем-то.

Поезд умчался.

Все это продолжалось буквально две-три минуты; и это потрясающее «мгновение» воистину потрясло меня; точно огромный пласт сырой земли был отодран неведомою силой, оторван каким-то гигантским плугом от своего исконного места, оторван так, что затрещали и оборвались живые корни, которыми этот пласт земли прирос к почве, оторван и унесен неведомо куда... Тысячи изб, семей представились мне как бы ранеными, с оторванными членами, предоставленными собственными средствами залечивать эти раны, «справляться», заращивать раненые места.

Умышленное «заговаривание» хорошими словами душевной неправды, умышленное стремление не жить, а только соблюсти обличье жизни, – впечатление, привезенное мною из города, – слившись с этой «сущей правдой» деревенской жизни, мелькнувшей мне в двухминутной сцене, отразились во мне ощущением какого-то беспредельного несчастья, ощущением, не поддающимся описанию.

Воротившись в свой угол, неприветливый, холодный, с промерзлыми подоконниками, с холодной печью, я был так подавлен сознанием этого несчастья вообще, что невольно и сам почувствовал себя самым несчастнейшим из несчастнейших существ. «Вот что вышло!» – подумалось мне, и, припомнив как-то сразу всю мою жизнь, я невольно глубоко закручинился над нею: вся она представилась мне как ряд неприветливейших впечатлений, тяжелых сердечных ощущений, беспрестанных терзаний, без просвета, без малейшей тени тепла, холодная, истомленная, а сию минуту не дающая возможности видеть и впереди ровно ничего ласкового.

Затопив печку сырыми дровами, я закутался в рваный полушубок и улегся на самодельную деревянную кровать, лицом в набитую соломой подушку. Я заснул, но спал, чувствуя каждую минуту, что «несчастье» сверлит мой мозг, что горе моей жизни точит меня всего каждую секунду. Мне ничего неприятного не снилось, но что-то заставляло глубоко вздохнуть во сне, непрестанно угнетало мой мозг и сердце. И вдруг, во сне же, я почувствовал что-то другое; это другое было так непохоже на то, что я чувствовал до сих пор, что я хотя и спал, а понял, что со мной происходит что-то хорошее; еще секунда – и в сердце у меня шевельнулась какая-то горячая капля, еще секунда – что-то горячее вспыхнуло таким сильным и радостным пламенем, что я вздрогнул всем телом, как вздрагивают дети, когда они растут, и открыл глаза.

Сознания несчастья как не бывало; я чувствовал себя свежо и возбужденно, и все мои мысли тотчас же, как только я вздрогнул и открыл глаза, сосредоточились на одном вопросе:

– Что *это* такое? Откуда *это* счастье? Что именно мне вспомнилось? Чему я так обрадовался?

Я так был несчастлив вообще и так был несчастен в последние часы, что мне непременно нужно было восстановить это воспоминание, обрадовавшее меня во сне, мне стало страшно даже думать, что я не вспомню, что для меня опять останется все только то, что было вчера и сегодня, включительно до этого полушубка, холодной печки, неудобной комнаты и этой буквально «мертвой тишины» деревенской ночи.

Не замечая ни холода моей комнаты, ни ее неприветливости, я курил папиросу за папиросой, широко открытыми глазами всматриваясь в тьму и вызывая в моей памяти все, что в моей жизни было в *этом* роде.

Первое, что припомнилось мне и что чуть-чуть подходило к *тому* впечатлению, от которого я вздрогнул и проснулся, – странное дело! – была самая ничтожная деревенская картинка. Не ведаю почему, припомнилось мне, как я однажды, проезжая мимо сенокоса в жаркий летний день, засмотрелся на одну деревенскую бабу, которая ворошила сено; вся она, вся ее фигура с подобранной юбкой, голыми ногами, красным повойником на маковке, с этими граблями в руках, которыми она перебрасывала сухое сено справа налево, была так легка, изящна, так «жила», *а не работала*, жила в полной гармонии с природой, с солнцем, ветерком, с этим сеном, со всем ландшафтом, с которым были слиты и ее тело и ее душа (как я думал), что я долго-долго смотрел на нее, думал и чувствовал только одно: «как хорошо!»

Напряженная память работала неустанно: образ бабы, отчетливый до мельчайших подробностей, мелькнул и исчез, дав дорогу другому воспоминанию и образу: нет уж ни солнца, ни света, ни аромата полей, а что-то серое, темное, и на этом фоне – фигура девушки строгого, почти монашеского типа⁵. И эту девушку я видел также со стороны, но она оставила во мне также светлое, «радостное» впечатление потому, что та глубокая печаль – печаль *о не своем горе*, которая была начертана на этом лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личной, собственной ее печалью, до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее *одну*, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее чему-нибудь такому, что бы могло «не подойти», нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла, – что при одном взгляде

⁵ ...фигура девушки строгого, почти монашеского типа – собирательный образ революционерки. Создавая этот образ, Успенский имел в виду, в основном, В. Н. Фигнер, приговоренную в 1884 году к смертной казни, которая была заменена двадцатилетним заключением. Это подтверждается упоминанием имени Фигнер в конспекте очерка «Венера Милосская», указанием на это А. И. Иванчина-Писарева в его воспоминаниях об Успенском («Заветы», 1914, № 5) и словами самой Фигнер в письме ее к А. В. Успенской от 25 ноября 1904 года, уже после смерти писателя: «...в 1884 г., во время суда, Глеб Иванович просил мою сестру передать мне, что он мне завидует... Глеб Иванович видел во мне – в эти минуты – цельного, неразделенного человека, шедшего определенной дорогой, без колебаний, без оглядки... видел личность, у которой есть что-то заветное, ради чего отдает всё. Именно этой цельности, я думаю, он и завидовал» (В. Н. Фигнер, Собр. соч., т. VI, Письма, изд. политкаторжан, М., 1929).

на нее всякое «страдание» теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, *живым*, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо! как славно!»

Но и этот образ ушел куда-то, и долго-долго моя напряженная память ничего не могла извлечь из бесконечного сумрака моих жизненных впечатлений; но она напряженно и непрерывно работала, она металась, словно искала кого-то или что-то по каким-то темным закоулкам и переулкам, и я почувствовал, наконец, что вот-вот она куда-то приведет меня, что... вот уж близко... где-то здесь... еще немножко... Что это?

Хотите – верьте, хотите – нет, но я вдруг, не успев опомниться и сообразить, очутился не в своей берлоге с полуразрушенной печью и промерзлыми углами, а ни много ни мало – в Лувре⁶, в той самой комнате, где стоит она, Венера Милосская... Да, вот она теперь совершенно ясно стоит передо мною, точь-в-точь такая, какою ей быть надлежит, и я теперь ясно вижу, что вот это самое и есть *то*, от чего я проснулся; и тогда, много лет тому назад, я также проснулся перед ней, также «хрустнул» всем своим существом, как бывает, «когда человек растет», как было и в нынешнюю ночь.

Я успокоился: больше не было в моей жизни ничего *такого*; ненормальное напряжение памяти прекратилось, и я спокойно стал вспоминать, как было дело.

⁶ Лувр – музей в Париже.

II

...Как давно это было! Не меньше как двенадцать лет тому назад довелось быть мне в Париже. В то время я давал уроки у Ивана Ивановича Полумракова. Летом семьдесят второго года Иван Иванович вместе с женой и детьми, а также и сестра жены Ивана Ивановича с супругом и детьми, собрались за границу. Предполагалось так, что я буду находиться при детях, а они, Полумраковы и Чистоплюевы, будут «отдыхать». Я считался у них диким нигилистом; но они охотно держали меня при детях, полагая, что нигилисты, хотя и вредные люди и притом весьма ограниченного миросозерцания, тупые и узколобые, но во всяком случае «не врут», а Полумраковы и Чистоплюевы и тогда уже чувствовали, что они по отношению к наивным и простым детским вопросам поставлены в положение довольно неловкое: «врать совестно», а «правду сказать» страшно, и принуждены были поэтому на самые жгучие и важные вопросы детей отвечать какими-то фразами среднего смысла, вроде того, что «тебе это рано знать», «ты этого не поймешь», а иногда, когда уже было особенно трудно, то просто говорили: «Ах, какой ты мальчик! Ты видишь, папа занят».

Так вот и предполагалось, что я, нигилист, буду делать ихним детям «определенное», хотя и ограниченное, узколобое миросозерцание, а они, родители, будут гулять по Парижу. Но решительно не знаю, благодаря какой комбинации случилось так, что дамы и дети в сопровождении компаньонки и какого-то старого генерала очутились где-то на морском берегу, а мужья и я остались в Париже «на несколько дней». Замечательно при этом, что и дамы, уезжая, были очень со мною любезны, говорили даже, что оставляют мужей «на мое попечение». Теперь я догадываюсь, что, кажется, и у дам были относительно меня те же взгляды и те же расчеты, которые вообще исповедовали все они относительно нигилистов, то есть, что хотя и туп, и дик, и ограничен, и окурки кладу чуть не в стакан с чаем, но что все-таки мое «ограниченное» миросозерцание заставит как Ивана Ивановича, так и Николая Николаевича вести себя в моем присутствии не так уж развязно, как это, вероятно, было бы, если бы они за отъездом жен остались в Париже одни с своим широким миросозерцанием. «Все-таки они посовестятся *ego!*» – вот, кажется, что именно думали дамы, любезно оставляя меня в Париже с своими мужьями.

Времени, отпущенного нам для отдыха, было чрезвычайно мало, а Париж так велик, огромен, разнообразен, что надобно было дорожить каждой минутой. Помню поэтому какую-то спешную ходьбу по ресторанам, по пассажирам, по бульварам, театрам, загородным местам. Некоторое время – куча впечатлений, без всяких выводов, хотя на каждом шагу кто-нибудь из нас непременно произносил фразу: «А у нас, в России...» А за этой фразой следовало всегда что-нибудь ироническое или даже нелепое, но заимствованное прямо из русской жизни.

Сравнения всегда были не в пользу отечества.

Такая невозможность разобраться в массе впечатлений осложнялась еще тем обстоятельством, что в 1872 г. Париж уже не был исключительно тем разнохарактерным «тру-ля-ля», каким привык его представлять себе русский досужий человек. Только что кончились война и коммуна, и еще действовали военные версальские суды⁷; за решеткой Вандомской колонны⁸ еще валялась груда мусора и камней, напоминая о ее недавнем разрушении; в зер-

⁷ Только что кончились война и коммуна, и еще действовали... версальские суды... – Речь идет о франко-прусской войне 1870–1871 годов и о Парижской Коммуне, образовавшейся 18 марта 1871 года. Контрреволюционное правительство Тьера обосновалось в Версале (город в 17 км от Парижа), отсюда и название – версальские суды, совершавшие в течение нескольких лет кровавую расправу над коммунарами после разгрома Парижской Коммуны в мае 1871 года.

⁸ Вандомская колонна – была воздвигнута в честь побед Наполеона при Вандоме в 1805 году. Парижская Коммуна постановила снести колонну, как «символ грубой силы и ложной славы...»

кальных стеклах ресторанов виднелись звездообразные трещины коммунальных пуль; те же следы пуль – маленькие беленькие кружочки с ободком черной копоти – массами пестрили фасады величественных храмов, законодательного собрания, общественных зданий; вот у статуи богини «Правосудие» неведомо куда отскочил нос, да и у «Справедливости» не совсем хорошо на правом виске, и среди всего этого – мрачные развалины Тюльери⁹ с высовывающимися рыжими от огня железными жердями, стропилами. Вообще на каждом шагу видно было, что какая-то грубая, жестокая, незнакомая с перчаткою рука нанесла всему этому недавно еще раззолоченному «тру-ля-ля» оглушительную пощечину. Таким образом, хотя Париж «тру-ля-ля» и действовал уже попрежнему, как ни в чем не бывало, но в этом действовании нельзя было не приметить какого-то усилия; пощечина ярко горела на физиономии, старавшейся быть веселой и беспечной, и сочетание разухабистых звуков возродившейся из пепла шансонетки с звуками «ррррран...», раздававшимися в саторийском лагере¹⁰ и свидетельствовавшими о том, что там кого-то убивают, невольно примешивало к разнообразию впечатлений парижского дня неприятное, мешающее свободному их восприятию чувство стыда, даже как бы позора. Вот почему, между прочим, нам и было весьма трудно разобраться в наших впечатлениях: набегаемся за день, наглядимся, наедемся, насмотримся, наслушаемся, еще раз и два наедемся и напьемся, а воротимся в свою гостиницу – и можем только бормотать что-то очень неопределенное, хотя и разнообразное, и даже бесконечно разнообразное.

⁹ *Тюльери* – дворец в Париже; до 1871 года был резиденцией французских императоров; в 1871 году, во время Коммуны, пожар уничтожил центральную часть дворца.

¹⁰ *Саторийский лагерь* – военный лагерь в местечке Сатори, в трех километрах от Версаля, где происходили расстрелы коммунаров.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.